

П Е Р Е В О Д И

Йохан Лойзинга

ОСЕНЬ СРЕДНЕВЕКОВЫХ*

(глава из книги)

Пер. с франц. А.Д.

* Библиографические сноски опущены. (Ред.).

Глава I. ТЕПЛЫЙ ВКУС ЖИЗНИ

В те времена, когда мир был на пять веков моложе, события человеческой жизни выглядели более выпукло и ярко. Несчастье и благополучие, казалось, разделялись резче, а весь людской опыт был еще до такой степени абсолютен и непосредственен, каковы в сознании ребенка — удовольствие и наказание. Каждое действие и событие облекалось в устойчивую и выразительную форму, носившую характер ритуала. Главные события жизни: рождение, брак, смерть — целиком погружались, благодаря сакрализации, в сияние божественной тайны. Менее важные происшествия — такие, как встреча, проводы, поездка, посещение, работа, — также сопровождались множеством заклинаний, благословений и церемоний.

Возможностей облегчить горе и нужду было тогда меньше, чем сейчас, а сами несчастья куда более люты и страшны. Болезнь и здоровье представляли ~~большой~~ большой контраст, а зимняя стужа и мрак ощущались гораздо более беспощадно. Богатству и почестям радовались намного живее, поскольку они еще ярче, чем теперь, отличались от окружающего ничтожества и нищеты. Теплый плащ на меху и жаркое пламя очага, доброе вино и веселый разговор, хорошая посель — все это заключало в себе такую полноту счастья, что уцелело до сих пор в английских романах с малейшими подробностями и оттенками. К тому же, все жизненные проявления, одни — поневоле, другие — наоборот, с гордостью предавались гласности. Все должно было быть обозначено. Прокаженных заставляли ходить процессиями и звонить в колокольчики, нищие сами голосили в церквах и на папертах, выставляя напоказ свои уродства. Каждое сословие, группу или профессию можно было узнать по одежде. Важные господа отправлялись в путь обязательно в сопровождении целого сонма оруженосцев и челяди, что — конечно — внушало уважение и возбуждало зависть. О том, что происходит на улице: публичная казнь, распродажа имущества с молотка, свадьба, похороны — можно было ясно судить по тому, каковы раздаются возгласы, вопли, музыка, каков движется кортеж. Влюбленные носили цвета своей дамы, мастеровые — эмблему цеха, члены партийной группировки — значки или герб предводителя.

Та же выделенность и контрасты были хорошо заметны между городом и деревней. Средневековый город не сливался с грязными предместьями. Окруженный стенами, он высился плотным монолитом,

ощетинившись бесчисленными башнями. Как ни грозны и внушительны были каменные чертоги знати и купцов, но царил над городом надменный лес церквей.

Контраст света и мрака, шума и тишины — также был резче, чем теперь. Современный город не знает ни полного мрака, ни абсолютной тишины: везде проникает свет, всюду доносятся отдаленные звуки.

Всякая вещь представлялась в сознании в символических формах и неизменных контрастах. Это приносило в повседневную жизнь ту особую экзальтацию, которая проявлялась во внезапных переходах от отчаяния к безумной радости, от жестокости к глубокой нежности. Между этими крайностями и пульсировала жизнь средневекового человека.

Был, однако, звук, который перекрывал любую суету и все сущее погружал в тишину и порядок: звон колоколов.словно добрые духи, знакомыми голосами возвещали они радость или горе, успокоение или тревогу. Их звали по именам: Толстая Жаклин, Звонкий Роланд; понимали смысл их перезвонов. Непрерывный звон колоколов подчинял сознание средневекового человека. В ходе известной судебной тяжбы между двумя валансьенскими буржуа (1455), процесса, который держал в напряжении весь город и Бургундский суд, большой колокол звонил беспрестанно "отвратительным голосом", по словам хрониста Шатлена. "Вызванивать ужас", "творить ужас" — значило: ударить в набат. Набат Собора Антверпенской Богоматери с 1316 года носил имя Орида, т.е. ужасный (страшный, безобразный, отвратительный). Нетрудно представить себе то своего рода легкое опьянение, которое возникало под перезвон всех церквей и монастырей Парижа, когда их колокола, гудя с утра до вечера и ночь напролет, возвещали, что избран Папа, который положит конец расколу, или что заключен мир между бургундцами и арманьяками.

Не менее глубокое и волнующее воздействие должны были оказывать и многолюдные шествия. Во времена беспорядков или бедствий (а таковых было немало), шествия устраивались каждый день, и так длилось неделями. Когда роковая усобица между Орлеанским и Бургундским домами переросла в Гражданскую войну и король Карл VI в 1412 году поднял орифламу против арманьяков, в Париже было приказано: как только король окажется на территории врага, ежедневно устраивать шествия. Так продолжалось с конца мая по июль, и каждый день в процессии включались новые группы, сословия и корпорации, каждый день они шли новым путем и несли новые реликвии. По словам современника, это были "самые трогательные процессии, которые когда-либо доводилось видеть кому бы то ни было". Все

шли босиком, все были в желтом, от члена Судебной Палаты до бедного мещанина; кто мог — нес свечу или факел; с ними было множество детей. Из окрестных деревень приходили толпы босых бедняков. Они шли за процессией или сопровождали ее "взором, полным слез и благоговения". И притом почти каждый день лил дождь.

Случались также "торжественные выходы" государя, сопровождавшиеся всевозможными видами роскоши и великолепия. И, наконец, не-престанные казни. Важными элементами духовной жизни народа являлись жестокое возбуждение и грубое умиление при виде эшафота. Зрелище было нравоучительное. За ужасные преступления правосудие назначало не менее чудовищные казни. В Брюсселе одного молодого поджигателя и убийцу привязали к цепи, которая вращалась вокруг оси, расположенной в центре кольца из зажженных вязанок хвороста. В трогательных речах он ставил себя людям в пример и "заставил сердца так размягчиться, что все залились слезами сострадания". И о конце его говорили, как самом прекрасном из тех, что доводилось когда-либо видеть". Рыцарь Мансар дю Буа, арманьяк, которому во время бургундского террора в Париже отрубили голову (1411), не только отпустил грехи палачу, просившему об этом по обычаю, но и умолял того обняться с ним. "Из множества бывших там людей почти все плакали горячими слезами". Если казнили важных господ, что, в данном случае, не было редким, народ получал двойное удовлетворение: видя, как сурово вершится правосудие, и обсуждая непостоянство фортуны, еще более разительное, чем во время повальных болезней. Городские чиновники принимали меры к тому, чтобы ничто не помешало зрелищу: то, что сеньоров вели на казнь, было знаком все-силлия городских властей. Знаменитый хозяин королевской гостиницы Жан де Монтегю, жертва ненависти Жана Бесстрашного, ехал на эшафот в открытом экипаже с огромными колесами. Впереди скакали два трубача. Он был в парадном мундире, широком плаще с капюшоном и ярких красно-белых чулках. На ногах у него были золотые шпоры. Те же самые шпоры украшали обезглавленное тело де Монтегю, вскоре уже висевшее на виселице. В 1416 году богатый каноник Никола д'Орлемон, жертва мести арманьяков, едет через Париж в золоченой карете, в капюшоне и просторной фиолетовой мантии, чтобы участвовать в казни двух подмастерьев, а спустя недолгое время сам оказывается в пожизненном тюремном заключении, "на хлебе скорби и воде уаса". Голова метра Удара де Бюсси, человека, отказавшегося от места в Судебной Палате, была — по специальному приказу Людовика XI — извлечена из могилы и выставлена на Эсденском рынке. На нее надели меховой капюшон "как у советников Судебной Палаты".

Снизу поместили краткое стихотворное пояснение. Утверждается, что сам король был автором этой свирепой шутки.

Иногда народ удавалось встряхнуть красноречием бродячего проповедника. Правда, это случалось реже, чем шествия или казни. Привыкнув к газетам, мы едва ли можем себе представить то громадное впечатление, которое производила яркая речь на несведущие и ненасытные умы. В 1429 году популярный моралист брат Ришар (будучи исповедником, он помогал Жанне д'Арк) читал свои поучения в Париже десять дней подряд. Он проповедовал, главным образом, на кладбище Невинных, начиная в пять утра и заканчивая между десятью и одиннадцатью. На стенах кладбища была изображена знаменитая пляска смерти, и брат Ришар говорил, повернувшись спиной к грудам трупов и кучам черепов, сваленных под открытым небом. В конце десятого дня, когда он объявил, что этот день будет последним и что у него нет разрешения проповедовать дальше, "все от мала до велика возрыдали столь глубоко и жалостливо, как будто собирались предать земле лучших друзей, и сам брат Ришар тоже плакал". Думая, что в ближайшее воскресенье он будет проповедовать в Сен-Дени, шеститысячная толпа — по свидетельству одного парижского буржуа — вечером в субботу вышла из города, чтобы занять себе место получше, и провела ночь вне городских стен.

В Париже была запрещена проповедь францисканца Антуана Фрадена из-за его резких выпадов против дурного правительства. Но для простых людей эти выпады оказались дороги. Они поджидали Фрадена день и ночь в Кордильерском монастыре, причем женщины выходили на декурства, запасшись камнями и головешками. Над указами, запрещающими такие бдения, они надсмехались: король, мол, в этом ничего не смыслит. Когда, наконец, изгнанному Фрадону пришлось покинуть город, народ устроил ему шумные проводы, "громко вопиаше и воздыхаше об изгнании его".

Когда приехал проповедовать известный доминиканец Винсент Ферье, то народ, городские власти и духовенство (как епископы, так и прелаты) вышли из города и устремились к нему навстречу, воздавая всевозможные почести. Ферье сопровождала целая толпа, которая каждый вечер на закате обходила город процессией, распевая псалмы и избивая себя плетью. В каждом городе, где он бывал, к нему присоединялись новые толпы. Заботу о том, чтобы приютить и накормить этих людей, Ферье поручал только самым безупречным лицам. При нем было и несколько обычных священников, которые помогали ему проповедовать и служить мессу. Сопровождали его и несколько нотариусов, которые составляли акты о примирениях, устроенных святым проповед-

ником. Магистрат испанского города Оригуэла в письме к епископу Мурсийскому сообщал, что в городе благодаря деятельности Ферье завершились миром 123 распри, из которых были вызваны убийством 67. Во время проповеди Винсента Ферье, его со свитой ограждали деревянным барьером от напора толпы, которая жаждала прикоснуться к его руке и одежам. Редко бывало, чтоб он не взволновал слушателей до слез, и говорил ли он о Страшном Суде, об адских мучениях или о страстях Христовых, — разражался рыданиями вместе с паствой и должен был ждать, пока утихнет плач, чтобы продолжить речь. Во время его проповедей отъявленные злодеи бросались наземь перед толпой и, заливаясь слезами, каялись в грехах.

В 1465 году в Орлеане, чтобы послушать великопостную проповедь Оливье Мэйяра, на крыши домов забралось столько народу, что кровельщик впоследствии представил счет за 64 дня ремонтных работ.

Не следует думать, что приведенное описание подвигов Винсента Ферье представляет собою лишь результат благоговейного преувеличения биографа: сухой и угрюмый Монстреле рассказывает о воздействии почти такого же рода, произведенном проповедью некоего брата Томаса на севере Франции и во Фландрии в 1328 году (он был самозванец, выдававший себя за кармелита и позднее разоблаченный). Городское начальство устремлялось к нему навстречу, а знатные дворяне вели под узцы его мула. Многие сеньоры, по словам Монстреле, покидали свои очаги, чтобы следовать повсюду за братом Томасом. Именитые буржуа ~~дворяне~~ украшали воздвигнутую для него кафедру самыми дорогими коврами. Но проповедники особенно пленяли своих слушателей, как раз восставая против роскоши и суетности. Народ, по словам Монстреле, больше всего был предан и признателен Томасу за то, что тот покрывал хулою знать и духовенство. Если он замечал среди слушателей дворянок с хеннином на голове, то натравливал на них мальчишек (по уверению Монстреле, обещая им отпущение грехов) и те вопили: "В хеннине! В хеннине!". Так продолжалось до тех пор, пока у дам не пропадала решимость носить этот головной убор и они не покрывались капюшоном, как монахини. "Но они вели себя как улитка, — сообщает добросовестный хронист, — которая, когда кто-то проходит мимо, прячет рожки внутрь, а когда никого нет, выставляет снова, и едва только обиженного проповедника со скандалом выгнали из страны, они опять взяли за старое и забыли все его поучения: мало-помалу надели прежние наряды, такие же и даже более роскошные, чем те, что привыкли носить".

Брат Ришар, брат Томас... Они зажгут костер из предметов рос-

коши, как шестидесятью годами позже Савонарола во Флоренции, неся невосполнимую утрату искусству. В 1426 и 1429 годах в Париже и Артуа мужчины и женщины добровольно несли на костер карты, трик-траки, игральные кости, головные уборы и украшения. Эти жертвоприношения во Франции и Италии XV века были церемониями, освящавшими отречение от суеты и удовольствий, конкретным воплощением глубоко внутреннего переживания в торжественном публичном акте, что соответствовало духу времени и его тенденции по любому случаю создавать ритуал.

Чтобы постичь терпкость вкуса и буйство цвета, свойственные жизни в те времена, нужно вспомнить об особой экзальтации, подвижности переживаний, склонности к слезам и внезапным перепадам настроения.

Общественный траур носил тогда вид подлинного бедствия. На похоронах Карла VII, народ, наблюдая турбную процессию, испытал нивистовое волнение. Все придворные, "облаченные в глубокий траур, отчего у них стал еще более горестный вид", были там. "И от великой скорби и гнева, которые врывались были смертью благословенного господина, лились потоки слез и раздавались стенания по всему городу". Шесть королевских пажей вели коней, покрытых черным бархатом, "Одному Господу ведома была вся глубина печали и скорби, кои испытывали они по своему повелителю". Один из пажей, по словам умиленного народа, не ел и не пил от горя четыре дня.

Но плач вызывался не только переживаниями глубокого горя, неистовых проповедей или таинств веры. Исторгали потоки слез и торжества мирского характера. Посол короля Франции неоднократно заливался слезами, обращаясь с торжественной речью к Филиппу Красивому. Все очевидцы плакали при отъезде юного Жана де Куамбра с Бургундского двора на прием к Наследнику и на встречу королей Англии и Франции в Ардр. Видели, как плакал Людовик XI при своем въезде в Аррас; Шатлен много раз описывает его рыдающим в то время, когда, еще будучи наследником, он жил при Бургундском дворе. Разумеется, в этих описаниях содержатся некоторые преувеличения. Жан Жермен рассказывает, что в 1435 году на мирном конгрессе в Аррасе присутствовавшие, услышав речи послов, были настолько взволнованы, что кидались на землю со стонами, рыданиями и воплями. Нет сомнения, что так не было, но епископ Шалонский полагал, что должно быть именно так: преувеличение позволяет глубже постичь истину. Как и у сентименталистов XVIII века, слезы здесь прекрасны и поучительны.

Пример из другой сферы покажет нам ту разницу в возбудимос-

ти, которая отличает XV век от нашей эпохи. Трудно представить себе игру более спокойную, чем шахматы. Между тем, по свидетельству Ла Марша, именно за шахматной доской часто возникали ссоры и "самый разумный терял терпение". Усобицы между владельческими сеньорами из-за шахмат были столь же обычным для XV века, как и для страниц Героической поэмы.

Неограниченная способность к страсти и фантазии пропитывала повседневную жизнь. Тот историк средневековья, который, отвергая хроники из-за недостаточной правдивости, стремится, по возможности, опираться только на официальные источники, рискует впасть в серьезные заблуждения. Документы вряд ли передают тот цветовой контраст, который отличает ту эпоху от нашей. В них слабо отражен буйный пафос средневековой жизни. Из всех страстей, что одушевляли жизнь в то время, в документах сообщается только об алчности и насилии. Кого не удивляла частота, с которой в официальных источниках говорится о распрях и мщении? Не стоит однажды увязать эти проявления с общей страстностью, которой была проникнута тогдашняя жизнь, как они станут близки и понятны. Вот почему желающему понять XV век так необходимы хроники, хотя они несколько поверхностны и недостаточны в том, что касается фактов.

Во многих отношениях в средневековой жизни присутствовал оттенок волшебной сказки. Придворные хронисты были людьми учеными и для своего времени выдающимися. Хотя они и лицецерели своих государей непосредственно, описывать их иначе, чем в архаичной и иератической манере, не могли. Именно в том случае, каковой, согласно наивному народному пониманию, источала вокруг себя королевская власть! Приведем пример такого представления, извлеченный из хроник Шатлена. Юный Карл Смелый, в то время еще граф де Шароле, прибыв из Эклоза в Боркум, узнал, что отец лишил его содержания и бенефициев. Собрав всю свиту, включая поварят, он поведал им о случившемся. В краткой взволнованной речи он засвидетельствовал свое уважение герцогу, которого-де злые люди ввели в заблуждение, выразил тревогу о благополучии родных и любовь к своей свите. Тем, кто имел средства к существованию, предлагалось остаться при нем и ждать перемен судьбы, а неимущим было позволено удалиться с тем, чтобы узнав, что дела их государя поправились, они вернулись. "Вы снова все встретитесь друг с другом на старых местах и будете мне желанны и приятны^и достоиславно, ибо никогда не

возьму в услужение никого иного. И вознагражу я терпение, кое вы понесете во имя мое...". В этом месте его голос дрогнул. У всех на глазах показались слезы и единым духом все воскликнули: "Мы все, мы все, о Государь, жить будем и умрем лишь с Вами". Глубоко потрясенный, Карл принял их клятву верности: "Итак, живите, и, следовательно, страдайте, а что до меня, то я готов пострадать за вас прежде, чем это понадобится". Затем выступили дворяне и передали в распоряжение государя все, чем владели: "...говорил один: вот тысяча моя, а вот другая, вот десять тысяч; другой: все что имею, кладу пред Вами и жду всего, что с Вами ни случилось". И все пошло своим чередом, и на кухне не стало ни на одну курицу меньше.

Композиция и детали этого полотна, безусловно, принадлежат Шатлену, и мы не знаем, в какой степени его рассказ соответствует реальности. Но для нас крайне важно, что сам хронист видит государя сквозь призму наивных образов народной баллады. Для него во всей истории главную роль играет древнее чувство взаимной верности.

Хотя в действительности механизм власти уже тогда приобрел достаточно сложные формы, народное воображение рисовало его в немногих устойчивых простых образах. Общепринятые политические идеи черпались из баллад и рыцарских романов. Королей делили, так сказать, на некоторое число типов, в той или иной мере отвечавших какому-либо литературному сюжету: государь благородный и справедливый; государь, получивший дурной совет; государь, мстящий за честь рода; несчастный государь, защищенный верностью своих близких. Средневековые горожане, обложенные тяжелым налогом и не контролируемые расходы казны, постоянно боялись, что их деньги будут пущены на ветер, а не на благосостояние страны. Эта подозрительность принимала наивную форму: "король окружен алчными и лукавыми советниками" или "роскошь при королевском дворе — причина всех бедствий страны". Таким образом, содержанием политики в сознании народа была авантюра.

Филипп Красивый знал, каким языком следует говорить с населением. Желая показать голландцам и фризам, что у него достаточно денег для завоевания Утрехтского епископства, он во время празднеств, устроенных в Гааге в 1456 году, велел выставить роскошную посуду ценой в тысячу марок серебром. Помимо этого, он приказал привезти из Лилля два сундука с двумястами тысячами золотых монет, и пригласил народ осмотреть их и пощупать. Тем самым демонстрация платежеспособности Государства приняла форму ярмарочной забавы.

Жизнь государя таила в себе тогда фантастический элемент, ко-

торый заставляет вспоминать халифа из "1001-й ночи". Случалось, что в разгар тщательно рассчитанного политического предприятия, государь ради удовлетворения личной прихоти вдруг поступал с безрассудной отвагой, подвергая серьезной опасности свою жизнь и начинания. Эдуард III рискует жизнью (своей и герцога Галльского), а также важными государственными делами, чтобы захватить флот испанских купцов и отомстить им за какое-то пиратство. Филипп Красивый вознамерился женить одного из своих воинов на дочери богатого пивовара из Лилля. Отец не согласился и обратился за помощью к Парижской Судебной Палате. Тогда приведенный в бешенство государь внезапно бросает все дела, задерживавшие его в Голландии, и предпринимает опасный вояж по морю из Роттердама в Экюз, чтобы исполнить своевольный замысел. И это на Святой Неделе! В другой раз, поссорившись с сыном и будучи вне себя от гнева, он в одиночку покинул Брюссель и всю ночь проблуждал по лесу. Хотя умиротворить его было совсем не просто, одному ловкому придворному (шевалье Филипп Пет) удалось с этой задачей справиться. Он нашел счастливый выход: "Добрый день, государь мой, приветствую Вас! В чем дело? Никак Вы нынче стали королем Артуром? Или рыцарем Ланселотом?".

Когда по предписанию врачей Филиппу пришлось обрить голову, он приказал всем придворным проделать то же самое. Непокорных упрямец поручили Пьеру де Гагенбаху, который остриг их насильно.

Юный король Франции Карл VI, переодевшись в простое платье и усевшись с приятелем на одну лошадь, наблюдал выход своей невесты Изабеллы Баварской. В результате его помяла толпа и побили стражники.

Поэта XV века возмущает то, что герцоги назначают министрами и советниками своих шутов и музыкантов, как это произошло с бургундским гаером Кокине.

В то время власть еще не была заключена в глухие рамки бюрократии и протокола: государь всегда имел возможность их обойти и добиться своего. Поэтому правители XV в. часто советовались о государственных делах с аскетами-мистиками или с экзальтированными проповедниками. Так, Дени Шартрский и Винсент Ферье зачастую выступали в качестве политических экспертов, а неуемный и красноречивый Оливье Майяр был тесно связан с тайными начинаниями европейских монархов. В высокой политике царил своеобразный религиозный экстаз.

К концу XIV-го и началу XV-го века политическая арена Европы была так полна неистовыми и трагическими конфликтами, что в народном сознании королевская власть уже не могла представлять чем-то

иним, как только непрерывным рядом кровавых или романтических эксцессов.

В сентябре 1399 года английский парламент собрался в Вестминстере, чтобы узнать, что король Ричард II, низложенный и заключенный в тюрьму своим племянником герцогом Ланкастерским, отрекся от престола. В том же месяце в Майнце были созваны выборщики, чтобы низложить своего короля Венцеслава Люксембургского, такого же неопредетельного, капризного и неспособного править, как и его английский свойственник, но с менее трагической судьбой. В то время, как Венцеслав еще долгие годы оставался королем Богемии, Ричард вскоре после отречения был тайно убит в тюрьме, как и его прадед 70 лет назад. Кто рискнет утверждать, что корона не таила в те время для ее владельца смертельной опасности?

Вот на троне Франции оказывается сумасшедший Карл VI. Еще немного — и в стране вспыхнет гражданская война. В 1407 году соперничество Орлеанского и Бургундского домов выливается в кровавую стычку: брат короля, Людовик Орлеанский, падает жертвой убийц, нанятых его кузеном, Жаном Бесстрашным. Возмездие последовало двенадцать лет спустя: в 1419 году, во время торжественной встречи на мосту Ментро, Жан Бесстрашный был предательски убит. Эти два убийства и связанные с ними отщепенства, стычки и дуэли на целый век окрасили историю Франции в мрачные тона ненависти. Так как народное сознание не понимало иных причин исторических событий, кроме личных пристрастий и соперничества, то и несчастья Франции воспринимались не иначе, как в свете названного великого и драматического сюжета.

Ко всем этим бедам добавлялась нарастающая угроза с Востока. В 1396 году турки уничтожили при Никополесе великолепную французскую конницу, безрассудно брошенную в бой Жаном Бургундским (он был тогда еще графом Неверским). Наконец, христианский мир отягощало бремя великого раскола, длившегося уже четверть столетия. У каждого из двух пап в Европе имелась своя сфера влияния. В 1409 году в Пизе был собран церковный собор, пытавшийся восстановить единство Церкви. Он потерпел неудачу, и папство стали оспаривать друг у друга уже трое. Третьим был "Папа с Луны": так прозвали во Франции упрямого арагонца Пьера де Луна, который остался в Авиньоне под именем Бенедикта XIII. Какие фантастические видения, должно быть, вызывало в невежественном народном сознании это словосочетание — "Папа с Луны"!

По дворам европейских герцогов чуть ли не толпами скитались

свергнутые государи. Во большинстве своем они обладали весьма скудными средствами, но глаза их горели величием замыслов, а сами они несли на себе отблески чарующего Востока. За плечами у них были Армения и Кипр, Трапезунд и Константинополь, и каждый виделся персонажем из известного спектакля о колесе Фортуны: они как бы слетели с него, все эти короли с коронами и скипетрами.

Рене Анжуйский был не таков, хотя тоже без короны. Он был лучше других наделен землей в Анжу и Провансе. И все же Фортуна ему не улыбнулась: родовитый французский герцог упустил едва ли не лучшие возможности в тогдашней Европе. Он претендовал на троны Венгрии, Сицилии и Иерусалима, но ему не досталось ничего, кроме горьких поражений, долгих лет тюрьмы и рискованных побегов. Король-поэт без трона, он и стремился найти утешение от превратностей судьбы в пасторали или миниатюре. Ему довелось пережить почти всех своих детей, а судьба единственной оставшейся в живых дочери была мрачнее его собственной. Пылкая, умная и честолюбивая, Маргарита Анжуйская в шестнадцать лет вышла замуж за простодушного английского короля Генриха VI. Его двор был средоточием злобы, козней и вражды. Нигде в большей степени, чем в Англии, политика не была так круто замешана на недоверии к королевской семье, обвинениях против влиятельных слуг короны, тайных и явных убийствах, совершенных либо в целях безопасности, либо путем тонкой ~~шпион~~ интриги. Спустя несколько лет после того, как Маргарита попала в эту обитель ужаса и травли, распря между Ланкастерами, родом ее супруга, и Йорками переросла в кровавую гражданскую войну. Маргарита решила оставить трон и владения и бежать. Перипетии войны Алой и Белой Розы ввергли ее в тяжкие испытания и отчаянную нужду. Найдя убежище при Бургундском дворе, она поведала хронисту этого двора Шатлену волнующий рассказ о своих приключениях: как со своим маленьким сыном она должна была положиться на милость разбойника; как ей нечем было пожертвовать во время богослужения и она попросила монету у шотландского воина, "а тот, жалея и скупясь, вытащил из кошелька стручок фасоли и подал ей". Взволнованный невзгодами и унижениями Маргариты, честный историограф посвящает ей в знак утешения свой "Храм Бокас", "небольшой трактат о везении, основанный на непостоянстве и прихотях природы". В духе своего времени он полагал, что сможет утешить несчастную королеву, представив перед ней мрачную галерею государевых несчастий. Но оба тогда не знали, что ^{лучше} еще впереди: в 1471 году в битве при Тьюскесбери Ланкастеры были окончательно разбиты, единственный

сын Маргариты либо пал в бою, либо — что вероятнее — был убит впоследствии; ее мужа убили тайно, а саму Маргариту пять лет продержали в тюрьме Лондонской Башни, пока Эдуард IV не продал ее Людовiku XI. В награду за свое освобождение Маргарита пришлось завещать последнему отцовское наследство.

Если такие судьбы постигали королевских отпрысков, то ничуть не удивительно, что парижские обыватели верили рассказам о потерянных королевствах и жестоких изгнаниях, которыми прищипывали бродяги пытались вызвать интерес и сочувствие к себе. В 1427 году в Париж ~~и~~ явилась толпа цыган, выдававших себя за кающихся "герцога с графом и десятью рыцарями". Они, якобы, прибыли из Египта, папа — в наказание за отступничество — велел им семь лет скитаться, не ложась в постель. Сначала их было, якобы, 1200, они потеряли в пути короля, королеву и множество подданных. Как единственное утешение, папа предписал, чтобы каждый епископ и аббат давали им по десять ливров на круг. Парижане толпой приходили глазеть на иностранцев; бывшие с пришельцами женщины гадали обывателям по рукам и ловко выманивали деньги, "иначе говоря, с помощью волшебного искусства".

Жизнь государей была окружена флером приключений и страстей, и это не только плод народной фантазии. Ныне мы почти не в состоянии представить себе в полном масштабе впечатлительность и сумасбродство средневековья. Если исходить только из официальных документов, о средневековье сложится представление, в котором отсутствует очень важный элемент: неистовая страсть, одушевлявшая и властителей, и народы. Несомненно, и в сегодняшней политике подчас царят страсти, но их влияние сдерживается усложнившимся механизмом общественной жизни. Напротив, в средневековье они бушевали всюду и подчас разрушали самые разумные и полезные политические начинания. У властителей подчеркнутая экзальтация сочеталась с ощущением всемогущества и действовала с удвоенной силой. Шатлэн, по его словам, ничуть не удивляло, что власть имущие враждуют друг с другом, "Ибо государи суть те же люди, и хотя занятия их возвышенны и примечательны, но природа их подчинена многим страстям, из коих злоба и зависть едва ли не впереди всего, а сердца государевы суть подлинные пристанища оных страстей из-за царственной их гордыни". Не сродни ли эти чувства тому, что Бурхардт называл "das Pathos der Herrschaft" (пафосом господства)?

Пожелавшему написать правдивую историю Бургундского дома немало страниц пришлось бы посвятить теме мщенья и оскорблений

гордыни. Конечно, мы не намерены возвращаться к наивным взглядам на историю, свойственным самому XV-му веку, и потому не будем сводить всю глубину противоречий, послуживших причиной вооруженного конфликта между Францией и Австрией, к одному лишь чувству мести, разделявшему две ветви рода Валуа, Орлеанскую и Бургундскую. Но не упустим из виду и того, что для современников, как участников, так и наблюдателей этой борьбы, именно кровная месть была ведущим мотивом, управлявшим поступками и судьбами стран и государей. Для них Филипп Красивый — прежде всего "мститель", который "дабы кровью смыть тяжкую обиду, нанесенную его персоне герцогом Жаном, вел 16-летнюю войну". Приняв на себя "крест отмщения" как священную обязанность, он поклялся "со всею преступною и смертною горечью, что станет биться до последнего, покуда Самому Господу будет угодно позволять это, и что положит тело и душу, самого себя, и все владения свои на прихоть и расположение фортуны. При всем том он скорее прослыл своими благими намерениями, чем позволял себе благотворительные и богоугодные деяния". Впоследствии общее недовольство вызвал доминиканец, который, читая в 1419 году проповедь на похоронах убитого государя, осмелился поставить долг христианина выше чувства мести. По свидетельству Ла Марша, писавшего о Филиппе, идея чести и возмездия была кардинальным пунктом его политики: все подданные твердили об отмщении вместе с ним.

Апраский трактат, который в 1435 году, казалось, водворил мир между Францией и Бургундией, начинался покаянным обетом, связанным с убийством в Монтро: построить придел в монтройской церкви, где захоронить останки герцога Жана и каждый день петь реквием; в том же городе, в монастыре Шартрё поставить крест на мосту, где было совершено убийство; устроить мессу в Шанмольском монастыре в Дижоне, где похоронены герцоги Бургундские. И все это — лишь часть покаянных обетов, которые потребовал канцлер Роллен со стороны государя; церкви и капитулы в Риме, Ганде, Дижоне, Париже, св.Иакова Компостельского и в Иерусалиме в ознаменование этого покаяния следовало снабдить краткими надписями.

Потребность в наказаниях, облеченная в столь обстоятельные формы, должна была оказать сильное воздействие на сознание. Да и что в политике государей могло быть доступнее для народного понимания, чем самые банальные и примитивные мотивы ненависти и отмщения?

Преданность владетелю по-прежнему носила наивный и импуль-

сивный характер, будучи произвольной тягой к верности и солидарности, своего рода расширением древней феодальной концепции. То было скорее клановое, нежели политическое чувство. Три последних столетия средневековья можно назвать эпохой великой партийной борьбы. В Италии партии образовались уже в XIII веке, во Франции и Нидерландах они приобретают значение с XIV века. Современным историкам не удалось объяснить возникновение этих партий одними политико-экономическими причинами. Взятая за основу, экономическое соперничество остается голой схемой, которая, даже при большом желании, не подтверждается документами. Не отрицая экономических причин, мы вынуждены, тем не менее спросить: не лучше ли объяснить в данном случае партийную борьбу социологическими методами, чем политико-экономическими?

В этом случае образование партий, в соответствии с имеющимися документальными данными, можно понимать следующим образом. В феодальные времена не было иных методов для личной вражды, кроме зависти к чужой собственности или соперничества в общественном положении. Родовая спесь, потребность мстить и непоколебимая преданность вассалов — таковы непосредственные движущие силы конфликтов того времени. По мере усиления и распространения королевской власти родовые распри, поначалу изолированные, объединялись и концентрировались в партиях. Члены последних не мыслили иных причин для ненависти или близости, кроме традиции, солидарности и чести.

Проницательный современник борьбы между "Гузами" и "Кабийодами" в Голландии заявляет, что в ней отсутствовали какие-либо мотивы. Действительно, невозможно удовлетворительно объяснить, почему Эгмонты стали "Кабийодами", а Вассенары — "Гузами", поскольку экономические противоречия, возникшие между их домами, были как раз следствием их положения при дворе, уже как членов той или иной партии.*

* Моя идея не отрицает действия экономических факторов; еще менее она является протестом против объяснения истории на основе экономических реалий. Вспомним Жореса: "Но история состоит не только из борьбы классов, есть также и борьба партий. Я хочу сказать, что помимо экономических привязанностей и антагонизмов группировки сил определяются подчас и игрой страстей, соображениями гордыни, стремлением к власти. Все эти мотивы, сталкиваясь на исторической поверхности, приводят к весьма обширным потрясениям".

Каждая страница средневековой истории демонстрирует глубину и непримиримость чувства верности к суверену. Поэт, написавший "Чудо Марики из Нимвегена", показал нам, как злая тетка Марики, поссорившись с горожанами в связи с распрей между Арнольдом и Адольфом де Гельдрами, в гневе выгнала племянницу из дому. Затем, будучи вне себя при виде выпущенного из тюрьмы старого герцога, покончила с собой. Тем самым поэт как бы предупреждает об опасностях партийного духа. Выбранный им пример (самоубийство) — крайний случай, несомненное преувеличение, но он ясно показывает пылкий характер партийных страстей.

Есть и более утешительные примеры. Городские власти Аббевиля велели звонить среди ночи в колокола, т.к. прибыл гонец от графа Шароле, который потребовал, чтобы город молился об исцелении герцога Бургундского. Испуганные горожане толпой устремились в церковь, зажгли свечи, молились и плакали ночь напролет, преклонив колена или повергшись ниц, в то время как колокола звонили в полную силу.

Парижане, сторонники бургундцев, узнав в 1429 году, что брат Ришар, взволновавший их своею проповедью, — арманьяк и тайно склоняет горожан в пользу своей партии, проклинали его именем Бога и всех святых, а на медали с именем Иисуса, подаренной им братом Ришаром, выбили андреевский крест — знак бургундцев. Кроме того, по свидетельству парижанина, они "в знак презрения к брату Ришару" снова принялись играть в кости, против чего он так яростно боролся.

Трудно поверить, но церковный раскол Западной Европы, который совершенно не касался никаких догматических проблем, смог возбудить страсти в столь удаленных от Рима и Авиньона местах, где об обоих папах не знали ничего, кроме имен. Тем не менее, раскол послужил причиной для столь фанатичной ненависти, что ее можно сравнить лишь с той, что разделяла христиан и неверных. Когда Брюгге покорился авиньонскому папе, многие бросили свои дома, торговлю и пребенды (доходы с церковного имущества) и отправились жить согласно своим партийным взглядам в Утрехт, Льеж или иную, верную Риму епархию.

Перед битвой при Роозбеке (1382 г.) предводители французской армии спрашивали себя, вправе ли они поднять против фламандцев орифламу — знамя, развешивавшееся только в священных случаях. Решили, что вправе, ибо фламандцы — урбанисты, а значит — неверные.

Пьер Сальмон, писатель и французский политический агент, оказавшись в Утрехте, не мог найти священника, согласного допустить его к пасхальному причастию, "потому что они все говорили, что я раскольник и верую в антипапу Бенедикта". Сальмону пришлось исповедоваться в часовне одному и слушать мессу за оградой монастыря Шартрё.

Партийные чувства и преданность суверену укреплялись гипнотическим воздействием внешней символики: цветов, эмблем, девизов и восклицаний. Ими нередко сопровождались тяжкие убийства и — реже — известия о счастливых событиях. В 1380 году при въезде юного Карла VI в Париж в двухтысячной толпе народа, вышедший встречать его у городских стен, все как один были одеты в зеленое и белое. С 1411 по 1413 год Париж трижды менял цвета: фиолетовые капюшоны с андреевским крестом, белые капюшоны, снова фиолетовые. Эти символы носили все: священники, женщины, дети. Во время бургундского террора в Париже (1411) каждое воскресенье арманьяков отлучали от Церкви под звон колокола. Изображения святых украшали андреевским крестом, а про некоторых священников говорили, что они во время мессы или свершения треб творят крестное знамение не по-католически, а в виде андреевского креста.

Таким образом, слепая страсть, с которой средневековые люди следовали за своим сеньором и партией, выражала, в частности, стойкое чувство справедливости, свойственное для того времени, твердую уверенность в том, что за каждый поступок причитается полное воздаяние. Это чувство было еще на три четверти языческим: то была скорее потребность в отмщении или воздаянии. Церковь пыталась смягчить нравы, призывая к примирению и прощению, но — с другой стороны — она же постоянно обостряла жажду справедливости, усиливая тем самым стремление к воздаянию и ненависть к греху. Слово "грех" для пылких и порывистых умов того времени чаще всего было лишь иным названием поступков их врагов. Чувство справедливости достигало наибольшего напряжения между двумя полюсами — варварским представлением о возмездии и религиозным ужасом греха. Кроме того, обязанность государства сурово наказывать все больше ощущалась как настоятельная необходимость: хроническое состояние небезопасности требовало публичных проявлений власти, актов террора. Мысль о возможности искупить преступление отступала по мере того, как утверждалась идея о том, что преступление угрожает обществу и оскорбляет величие Бога. Поэтому конец средневековья

стал, по существу, эпохой судебных жестокостей. Никто ни на минуту не сомневался, заслужил ли преступник свою кару. Народ санкционировал еще более жестокие наказания, чем те, которые мог утвердить государь. Время от времени городские власти предпринимали подлинные кампании свирепости: то против грабежей и разбоя, то против колдовства или скотоложства.

В разгуле судебной жестокости ничто не поражает нас так сильно, как то извращенно-тупое, животное наслаждение, с которым воспринимал его народ.

Граждане Монса готовы были за немалые деньги купить разбойника, чтобы насладиться зрелищем его четвертования, "которое их радовало больше, чем если бы воскрес какой-нибудь святой". Когда взяли в плен Максимилиана Австрийского, пыточную скамью в Брюгге (1468) установили посреди рынка на высоком помосте, на виду у королевского арестанта. Народ же никогда не получал такого удовольствия, как от зрелища мучений, доставшихся на долю чиновников, заподозренных в измене. Казнь, о которой умоляли эти несчастные, постоянно откладывалась, с тем, чтобы присутствовавшие могли подольше насладиться их пытками.

Во Франции и Англии был обычай отказывать приговоренным к смерти не только в предсмертном причащении, но и в исповеди: полагалось не спасать души, а усугублять страдания уверенностью в том, что их ожидают также и муки ада. Напрасно папа Климент V в 1311 году предписал допускать обреченных к таинству покаяния. Идеалист Филипп де Мезьер добивался исполнения этого предписания сначала при Карле V, затем при Карле VI. Но этому воспротивился канцлер Пьер д'Оржемон, по прозвищу "Крепкая башка". (По словам Мезьера, сдвинуть его с места было труднее, чем мельничный жернов). Карл V, само воплощение мудрости и кротости, заявил, тем не менее, что пока он жив, обычай останется в силе. Так бы и случилось, если бы к усилиям Мезьера не присоединил свой голос Жан Жерзон. Тогда 12 февраля 1397 года последовал королевский указ, предписывавший принимать от осужденных исповедь. Пьер де Краен, желая способствовать этому решению, соорудил в Париже близ виселицы каменный крест. Тем самым было отмечено место, где братья-минориты могли принимать исповедь у осужденных. Но и тогда варварский обычай не исчез. После 1500 года парижскому епископу Этьену Понше пришлось повторить предписание Климента V. В 1427 году в Париже вешали разбойника из дворян. Во время казни главный

казначей Регента принялся кричать ему о своей ненависти, не давая исповедовать казнимого, а потом взобрался на эшафот и, всячески оскорбляя осужденного, избил его палкой, заодно взгрев и палача, собиравшегося призвать свою жертву к мыслям о спасении души. Напуганный палач поспешил к своим прямым обязанностям, но веревка оборвалась и несчастный злодей упал, сломав ногу и ребра. В таком состоянии ему снова пришлось взойти на эшафот.

Средневековью были неведомы те идеи, которые сложились впоследствии в современное представление о робком и нерешительном правосудии: ограниченная ответственность, чувство погрешимости, убеждение в причастности общества, желание исправлять, а не наказывать. Вместо них внезапно вспыхивало чувство сострадания и прощения, которые вне всякой связи с характером совершенного проступка становились порой препятствием на пути строгого правосудия. В то время как в нашу эпоху наиболее распространены мягкие наказания, подвластные всевозможным колебаниям, средние века не знали ничего, кроме двух крайностей: наказания сполна или полного прощения. Для прощения вовсе не требовалось, чтобы преступник заслужил милость в связи с какими-то особыми обстоятельствами. Любой проступок, даже самый очевидный, мог быть прощен. На практике прощение зависело не только от чистого сострадания. Например, заступничество родных могло обеспечить преступнику "послание о помиловании". Современники находили это вполне естественным, причем большинство "посланий" касалось судьбы бедняков.

В нравах средневековья повсюду господствует конфликт между жестокостью и состраданием. С одной стороны, бедные, больные и слабоумные вызвали самое глубокое сострадание и проявление братских чувств, с другой — с ними же обращались с невероятной свирепостью и подвергали жестокому осмеянию. Хронист Пьер де Фенин заканчивает свой рассказ о гибели шайки разбойников, словами: "и раздался громкий взрыв смеха", ибо все они были людьми низкого звания".

В 1425 году в Париже развлекались тем, что заставили четверых вооруженных слепых биться друг с другом из-за поросенка. Накануне они объехали город в доспехах, поедшествоваемые волынщиком, и со стягом, на котором была изображена свиная голова.

Карлики были таким же объектом утонченной забавы при дворах французских герцогов, каковым они стали при испанском дворе в эпоху Веласкеса, донесшего до нас их печальные образы. На боль-

ших придворных праздниках во время артистических интермеццо карлики демонстрировали свои способности и уродства. Всем была известна мадам д'Ор (Золотая), белокурая карлица Филиппа Бургундского: ее заставляли бороться с акробатом Гансом. На праздновании свадьбы Карла Смелого с Мартой Йоркской в 1468 г. появилась мадам де Богран (Прекрасная Великанша), карлица Мадемуазель Бургундской*: она была одета пастушкой и сидела верхом на золоченом льве, который превосходил размерами лошадь. "Лев" открывал и закрывал пасть и пел приветственный куплет. Пастушку преподнесли юной новобрачной и посадили за стол. До нас не дошло ни одной жалобы, которая касалась бы участи этих карлиц, но мы располагаем книгами счетов, которые вполне красноречиво о ней свидетельствуют. Герцогиня раздобыла себе карлицу, родители которой иногда навещали свое дитя и получали вознаграждение: "Отцу дурочки Белен, который явился повидать свою дочь...". В том же году кузнец де Блуа сделал два железных ошейника: "один - привязать дурочку Белен, другой - надеть на шею обезьянке г-жи герцогини".

Как обращались в средние века с сумасшедшими, можно представить себе благодаря одной детали, касающейся ухода за Карлом VI, с которым, как с королем, обходились, конечно, гораздо мягче, чем с простыми смертными. Для разнообразия не нашли ничего лучше, как внезапно ^{напугать} его толпой из дюжины молодцев с лицами в саже, надобных чертам.

Однако жестокосердие этой эпохи несет на себе отпечаток такой наивности, которая не позволяет безоговорочно ее осудить. Например, в самый разгар опустошавшей Париж эпидемии герцоги Бургундский и Орлеанский приказали вместо всех развлечений учредить так называемый Двор Любви. Во время передышки в ужасной резне арманьяков в 1418 г. парижане учредили братство Св. Андрея в церкви Св. Евстафия: священники и миряне принесли венки алых роз, и в церкви запахло так, "как если бы ее вымыли розовой водой". Население Арраса отметило прекращение процессов ведьм, подобие эпидемии, обрушившихся на город в 1461 г., устроив состязание в показе "нравоучительных безумств". Первым призом была серебряная лилия, четвертым - пара каплунов. Жертвы, совсем недавно погибшие в му-

* Мадемуазель Бургундская - титул старшей дочери брата французского короля.

ках, были уже крепко забыты.

Жизнь была так неистова и противоречива, что запах крови мешался в ней с запахом роз. Люди этой эпохи, гиганты с детскими головами, метались между адскими страхами и наивными удовольствиями, между жестокостью и нежностью. Полное презрение к радостям мира сего или безумная привязанность к земным утехам, ненависть или доброта: все переливалось из одной крайности в другую.

От светлой и радостной стороны этой эпохи нам остались, в сущности, почти пустяки. Кажется, что счастливая кротость и безмятежность души XV-го века как бы истаяли в живописи или, наоборот, кристаллизовались в ясной чистоте музыки. Смех этих поколений погас. Их вкус к жизни и беззаботная веселость не сохранились нигде, кроме шутовского фарса и народной песни. Везде, кроме искусства, царил мрак. В грозных предостережениях проповедей, во вздохах и томлениях литературы, в монотонных повествованиях хроник и документов, — всюду вопиял грех и слышались стоны нищеты и убожества.

Такие смертные грехи, как гордыня, гнев и скупость, впоследствии никогда не обнаруживались с той бесстыдной дерзостью, с которой они красовались в жизни средневековья.

Вся история Бургундского дома это — поэма о героической гордыне: рыцарская храбрость, породившая успехи Филиппа Отважного, злобная зависть Жана Бесстрашного и его тяга к насилию, которая шла за ним до гроба, страсть к роскоши другого Великолепного, Филиппа Красивого, и, — наконец — безумные смелость и упрямство Карла Смелого. Их земли были самыми плодородными в Западной Европе: Бургундия со своими тучными полями и морем разливаным всевозможных вин, ухоженная Шикардия, чревоугодная и богатая Фландрия. И именно на этих землях, где живопись, скульптура и музыка развернулись в полную силу, именно здесь — дали себе волю самая суровая мстительность и самое неистовое варварство дворян и горожан.

Корыстолюбие — тот грех, который сделался в XV веке наиболее заметным. Ведь гордыня была пережитком феодальных и иератических времен, когда собственность не была еще столь динамичной. Власть еще не стала по преимуществу "властью денег". Она не имела более индивидуальный характер, и, чтобы получить признание, должна была проявляться в многочисленности свиты, дорогих украшениях,

впечатляющих выездах сеньора. Сознание превосходства над другими людьми поддерживалось внешними формами: коленопреклонениями, иными знаками почитания, клятвами верности и пышностью, которая превращала кажущееся величие в реальную и мотивированную категорию, т.е. в вещь.

Гордыня была грехом и в символическом, и в богословском смыслах. В тщеславии видели источник всех зол, а гордыню Люцифера считали источником и причиной всеобщей гибели. Так рассуждал Блаженный Августин, то же представление сохранилось и впоследствии. "Гордыня, — утверждает Угё де Сен-Виктор, — источник всех грехов: они произрастают из нее как корень и стебель". Но если Писание выражало эту мысль в словах: "*A superbia initium sumpsit omnis perditio*" (От гордости — гибель и великое неустойство), то были в нем и такие слова: "*Radix omnium malorum est cupiditas*" ("Корень всех зол — сребролюбие"). И весьма похоже на то, что с конца XIII века вместо гордыни иди алчности корнем всякого зла стали считать так называемую Скупость, *cieca cupidigia* (слепую алчность) по Данте.

У скупости не было такого символического и богословского смысла, как у гордыни. Это был грех сугубо земной, порожденный природою и плотью. Грех корыстолюбия стал преобладать в эпоху, когда под действием денежного обращения изменилось социальное положение власти. Оценка человеческого достоинства превратилась в арифметическую задачу. Безграничное поле деятельности открывалось тому, кто жаждал насытить свою необузданную жадность и скопить богатство. При этом богатства не приобрели еще той призрачной неопутимости, которую им придаст капитализм, основанный на кредите. В средние века богатством было золото, желтое, осязаемое, неотступно преследовавшее воображение. Богатствами наслаждались непосредственно и примитивно. Это чувство еще не было смягчено механизмом автоматического и невидимого накопления. Удовлетворение от богатства достигалось либо путем роскоши и мотовства, либо в самых грубых формах скупости. В роскоши и мотовстве алчность соединялась с гордыней. Последние качества были еще в полном цвету: феодальное и иерархическое сознание не утратило своей силы, а стремление к пышности оставалось очень живучим. Названный союз корыстолюбия и гордыни привнес в угасающее средневековье ноту такого ожесточения и неистовства, которая в последующие эпохи уже не проявлялась, ибо Протестантизм и Возрождение подвели под ску-

пость нравственную базу: они ее легализовали, признав в ней созидательную силу благосостояния.

В хрониках, как и во всей литературе от грубой пословицы до возвышенной и набожной поэмы, запечатлелась всеобщая ненависть к богатым, однообразные жалобы на алчность сильных мира сего. Присутствует и смутная концепция классовой борьбы, выраженная в тонах морального негодования. Документы здесь столь же красноречивы, как и хроники, ибо в официальных бумагах, имевших отношение к тяжбам такого рода, самое бесстыдное корыстолюбие выставлено напоказ.

В 1436 году в стенах одной парижской церкви возник спор между двумя нищими, который привел к пролитию нескольких капель крови и осквернению святыни. Служба была прервана на целых двадцать два дня, хотя эта церковь и считалась одной из главных. Дело в том, что епископ Жак дю Шателье, "человек изрядно помпезный, сребролюбивый и куда более светский, чем ему позволял сан его", отказался переосвящать церковь, покуда не получит с тех двух оборванцев некую сумму, каковой, впрочем, у них и не было. При его преемнике Дени де Мулене в 1441 г. стало еще хуже. Этот в течение четырех месяцев запрещал все похороны и процессии на известном парижском кладбище Невинных, поскольку тамошняя церковь не могла заплатить требовавшуюся дань. Епископ де Мулен был "человеком весьма мало жалевшим кого бы то ни было, если не получал денег или какого-либо подношения по его выбору. По правде говоря, у него было более полусотни тяжб в Парижской ^{Судебной Палате,} ~~парламенте~~, поскольку от него иначе, как через суд, ничего нельзя было добиться". Чтобы оценить всю силу народной ненависти к богатым и понять, за что на их головы сыпались проклятья проповедников и поэтов, следует изучить происхождения нуворишей той эпохи, хотя бы, например, рода д'Оржмон.

Народ не видел в собственной судьбе и судьбе своей страны результата дурного управления, эксплуатации, войн и грабежей, нищеты и эпидемий. Продолжительные войны, частые беспорядки, чинимые в городах и деревнях опасным сбродом, постоянная угроза жестокой судебной расправы и неотступная мысль о том, что потребуется

что-либо поручительство, а в еще большей степени, мучительная боязнь ада, дьявола и колдунов, — все это вызывало общее смятение, окрашивавшее жизнь в мрачные тона. Однако беззащитность перед лицом опасностей — удел не только бедняков; у дворян, чиновников и зажиточных горожан жизнь также была чревата риском и внезапными переменами судьбы. Пикардийца Матье д'Эскуши можно назвать историком, если это слово применимо к XV-му веку. Его хроник^а, простая, тщательная, непредвзятая, полная уважения к рыцарскому идеалу и общепринятой морали, кажется работой честного человека, который посвятил себя добросовестному историческому труду. Но благодаря архивным разысканиям Фресна де Бокура, мы имеем теперь всестороннее представление о реальной жизни д'Эскуши. Обнаружилось, что он — советник, старшина, присяжный заседатель, с 1440 по 1450 год судья Перонны — с самого начала своей карьеры был вовлечен в судебную тяжбу с семьей прокурора Жана Фромана. Тот же прокурор преследовал затем д'Эскуши за подлог и убийство ("злоупотребление и покушение"). В свою очередь, судья д'Эскуши устроил ловушку вдове своего врага, обвинив ее в колдовстве. Ей удалось все-таки добиться королевского указа, который обязал д'Эскуши передать следствие по ее делу другому судье. Процесс дошел до Парижского ^{Судебной Палаты,} Парламента, и д'Эскуши впервые оказался в тюрьме. Всего он сидел шесть раз: однажды — военнопленным, в остальных случаях — по уголовным делам, причем зачастую в кандалах. Сын прокурора Фромана ранил его при встрече. Обе враждующие партии нанимали бандитов с целью мести. Когда, наконец, эта долгая распря исчезает со страниц документов, в них появляются сведения о новых несчастьях д'Эскуши. Он был равен каким-то монахом, посыпались новые жалобы. В 1461 году судья собрался поселиться в городе Неле. Кажется, его снова заподозрили в каком-то преступлении. Это не мешало ему делать карьеру: он становится бальи, судьей Рибмона, королевским прокурором в Сен-Квентине, его жалуют дворянством. В 1465 году он сражался за короля в битве при Монт-Ихери против Карла Смелого и попал в плен. Из другого похода д'Эскуши вернулся изувеченным и женился, но — как оказалось — совсем не для того, чтобы начать спокойную жизнь. Его обвинили в подделке печати, он вел себя в Париже "как вор и убийца", начал тяжбу с судебским чиновником из Компьена, его подвергли пытке, помешали обжаловать судебное решение, осудили, реабилитировали, снова осудили и так до тех пор, пока следы этой вереницы ненависти и преследований не исчезли, наконец, со страниц документов.

Чтобы лучше почувствовать всю бездну экзальтации и неуверенности, понижающих описываемую эпоху, следует обратиться к собранным Пьером Шампионом подробностям из жизни тех, кто упомянут или имеется в виду в Завещании Вийона. Интересны в этом отношении и примечания Туэте к ДНЕВНИКУ ОДНОГО ПАРИЖСКОГО ГОРОЖАНИНА. В этих биографических справках нет ничего, кроме судебных процессов, злодеяний и бесконечных преследований. Точно также обстоит дело в любом жизнеописании, извлеченном наугад из судебных, религиозных или иных документов. Хроники, подобные коллекции злодейств Жака дю Клерка или ДНЕВНИКУ ЖИТЕЛЯ МЕЦА Филиппа де Виньоля, повествуют о своем времени в мрачных тонах. То же можно сказать и о "письмах о помиловании", ибо в них речь идет о преступлениях. Кажется, какую бы карьеру мы ни пожелали исследовать, подтвердятся наши самые худшие представления о ней.

Это был злой мир. В нем царили ненависть и насилие, всемогущая несправедливость праздновала победу, и сам дьявол распростер черные крыла над этой юдолюю тьмы. Конец света был недалек. Церковь взывала, проповедники и поэты сокрушались и увещевали, но тщетно: человечество не обратилось.